

Беременность
богом



Дмитрий Колобков

18+

Дмитрий Колобков
Беременность Богом

«Автор»

2026

Колобков Д.

Беременность Богом / Д. Колобков — «Автор», 2026

«Беременность богом» — роман о том, как страшно получить ответ на молитву. Он совершил непоправимое. Шагнул за грань. Но вместо ожидаемой пустоты его встретил голос, назвавшийся Богом. Ему было обещано величие: ещё пять жизней, пять чужих судеб — и он станет творцом новой вселенной. Парижский бордель, больничная палата в Гуанчжоу, ледяные улицы Петербурга, золотая клетка Лондона — каждый новый круг обещает приблизить его к свету. Но чем ближе финал, тем сильнее чувство, что где-то в этой схеме затаилась ложь. Потому что некоторые души созревают не для того, чтобы родиться. «Беременность богом» — это гипнотическая притча о вине и искуплении, которая с первых страниц затягивает в лабиринт, где каждый выход ведёт обратно к началу.

© Колобков Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Петля	5
Глава 2. Чрево	10
Глава 3. Красный бархат	15
Глава 4. Стекланный купол	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Беременность Богом

Глава 1. Петля

Холод проникал сквозь подошвы домашних тапок — тонких, стоптанных, из дешёвой ткани, купленных три года назад в супермаркете у дома, — мгновенно, но Артур почти не чувствовал его. Чувства притупились, оставив лишь звенящую, ватную пустоту внутри черепной коробки, словно кто-то вынул из неё всё содержимое и заменил ватой. Он стоял на внешнем подоконнике, прижимаясь лопатками к шершавому бетону стены, и смотрел вниз. Там, в серой предрассветной мгле, чернел мокрый асфальт дворового проезда. Лужи, затянутые тонкой коркой льда, поблёскивали в тусклом свете единственного уцелевшего фонаря. Ноябрь стоял в городе — поздний, беспощадный, высасывающий остатки цвета из всего, к чему прикасался, превращающий мир в монохромную фотографию.

Пальцы правой руки судорожно цеплялись за край оконной рамы — холодной, с облупившейся белой краской, под которой виднелось серое дерево. Левая безвольно висела вдоль тела, пальцы чуть подрагивали, но он не замечал этого. Он не помнил, как здесь оказался. Вернее, помнил, но это воспоминание было чужим, механическим, как будто кто-то другой управлял его телом, пока он спал, — кто-то, кому надоело тащить на себе груз его ошибок. Теперь он проснулся здесь. На краю. Между жизнью и смертью. Между небом и асфальтом.

Вдох. Холодный ноябрьский воздух, пахнувший бензином, мусорными баками, прелой листвой и ещё чем-то неуловимым — запахом приближающейся зимы, запахом конца, — обжёг лёгкие. Выдох — облачко пара, тут же развеянное ветром, который трепал его волосы и забирался под расстёгнутую рубашку. Артур попытался поймать в голове хоть одну связную мысль, но мысли разбегались, как потревоженные тараканы, слышавшие свет. Он стоял и смотрел вниз, и в голове гудело — не от ветра, а от пустоты, которая с каждым днём становилась всё громче.

Он помнил, как проснулся сегодня. В той же постели, что и всегда. В той же однушке с обшарпанными обоями и горой немытой посуды. Помнил, как долго лежал, глядя в потолок, и тишина давила на барабанные перепонки. Помнил, как встал, подошёл к окну, посмотрел на серый двор. И вдруг понял: сегодня — тот самый день. Сегодня он сделает это. Не потому что что-то случилось, не потому что был какой-то последний толчок, а просто потому что устал. Устал просыпаться. Устал помнить. Устал быть собой.

Перед глазами — рваные кадры, всплывающие из глубин памяти, словно осколки разбитого зеркала. Лицо отца. Не такое, каким он его запомнил в детстве — тёплое, с лучиками морщин у глаз, когда тот смеялся, — а искажённое гримасой боли и брезгливого разочарования. Артур помнил тот день, когда отец в последний раз смотрел на него. Это было после суда, после того, как условный срок утвердили и он вышел из зала суда — сломленный, униженный, с трясущимися руками. Он прошёл мимо Артура, который стоял в коридоре, и даже не замедлил шаг. Только бросил взгляд — короткий, острый, как бритва. И в этом взгляде Артур прочитал всё, что отец так и не сказал вслух: «Ты не мой сын». Или ему просто казалось, что отец мог бы это сказать. От этого не легче. Потому что он знал: это правда. Он перестал быть его сыном в тот момент, когда написал на листке бумаги даты и имена.

Вспышка. Смех. Смеялась Лена, его бывшая жена, но смех был истеричный, злой, с надрывом. Она стояла в дверях их общей квартиры, прижимая к себе Сашку. Сашка — маленький, испуганный, лысый после химиотерапии, с тонкими ручками и тёмными кругами под глазами — смотрел на отца и не понимал, почему папа больше не будет с ними жить. Почему папа собирает вещи. Почему папа уходит. В глазах Лены — не просто обида. Презрение. И усталость. Страшная, глубокая усталость, какая бывает у людей, которых предали в самый трудный

момент, когда они держались из последних сил и ждали поддержки, а вместо этого получили удар в спину. «Ты бросил нас, Артур. Ты сбежал, когда мы были нужны тебе больше всего». Её голос звучал в ушах так ясно, как будто она стояла рядом, на этом карнизе. И он действительно сбежал. Испугавшись диагноза, испугавшись ответственности, испугавшись того, что не сможет, что не выдержит, что сломается. Что ж, он доказал, что не смог.

Вспышка. Текст сообщения на экране старого телефона. «Ты украл мою идею, мои деньги. Ты думал, я забуду? Я не забуду. Ты сдохнешь в одиночестве». Это Дима. Бывший друг. Единственный, кто верил в него, кто протянул руку, когда они вместе, голодные и нищие, начинали свой бизнес в гараже. Кто сидел с ним ночами над чертежами, кто делился последней пачкой лапши, кто называл его братом. А он... он просто взял всё, что мог, и исчез. Увёл девушку, украл бизнес, вычеркнул друга из жизни. Потому что так было проще. Всегда проще было предавать. Сдавать, убегать, не думать о последствиях. Артур снова увидел лицо Димы — не такое, каким оно было в гараже, а такое, каким оно стало в тот день, когда он прочитал договор, составленный хитрым юристом. Пустое, непонимающее, а потом — полное горечи. «Ты не умеешь просить прощения. Ты даже не знаешь, что это такое».

Последствия настигали его теперь — на этом холодном карнизе, в этом промозглом утре, которое пахло бензином и безнадёжностью. Каждое предательство, каждое трусливое решение, каждый раз, когда он выбирал себя вместо других, — всё это привело его сюда. На пятый этаж. На внешний подоконник. В нескольких сантиметрах от смерти.

Артур перевёл взгляд на свои пальцы, побелевшие на холодном бетоне. Он почти не чувствовал их. Тело предавало его так же, как он предавал всех остальных. Оно медленно замерзало, пока разум в панике бился о стенки черепа, пытаясь найти выход, которого не было. Он знал, что, если простоит здесь ещё немного, пальцы онемеют окончательно, и тогда уже не нужно будет принимать решение. Ветер сделает всё за него.

И тут — странное.

Не мысль. Не воспоминание. Скорее, наплыв. Как будто в его сознание кто-то влил чужую память, густую, горячую, полную красок и звуков, которых он никогда не знал. Это было не похоже на воспоминания о собственной жизни. Те были серыми, тусклыми, как старая фотография, выцветшая от времени. А эти — яркими, резкими, болезненно-живыми, словно он переживал их прямо сейчас, в этот самый момент, стоя на карнизе.

Он увидел красный бархат. Потолок, затянутый выцветшей тканью цвета запёкшейся крови, провисший под тяжестью пыли и копоти. Увидел керосиновую лампу, качающуюся на голом шнуре. Увидел мутное зеркало и в нём — женское лицо. Не своё. Чужое. Измождённое, с тёмными кругами под глазами и красноватой сыпью на шее, которую не могла скрыть дешёвая пудра. Женщина смотрела на него из зеркала, и её взгляд был полон такого одиночества, такой безнадёжности, что у Артура перехватило дыхание. Она была ему незнакома — и в то же время казалась странно, пугающе близкой. Как отражение, которое он всегда носил в себе, но никогда не видел. Как будто эта женщина была частью его, как рука или сердце, о существовании которых он не подозревал.

Запах ударил следом — сладковатый, тошнотворный, смешанный с ароматом дешёвых духов с увядшими фиалками и запахом гниющей плоти. Артур закашлялся, хотя на карнизе пахло только бензином и прелой листвой. Видение не уходило. Он чувствовал этот запах — не вспоминал, а именно чувствовал, как будто стоял посреди грязной парижской улицы, а не на пятнадцатом этаже панельной многоэтажки. Он чувствовал влажный холод мостовой под босыми ногами, слышал стук дождя по карнизам, видел отблески фонарей в лужах. И вместе с этим запахом пришла боль — тупая, ноющая, разлитая по всему телу, как будто она была его собственной.

Красный бархат исчез. На его место пришла другая картина — стеклянный купол, треснувший посередине тонкой, как паутина, линией. Яркий, безжалостный свет лампы дневного

света, бьющий прямо в глаза. И боль. Боль, которая была повсюду — в костях, в коже, в крошечных лёгких, пытающихся сделать вдох. Боль, у которой не было источника и конца, у которой не было имени, — просто чистое, неразбавленное страдание. Артур почувствовал её физически — на мгновение, на одно короткое, невыносимое мгновение. Он ощутил себя крошечным, беспомощным существом, которое не умеет ни говорить, ни двигаться, а только страдать. Он чувствовал, как грубая ткань пелёнки натирает кожу, как холод металлического подноса под спиной, как равнодушные руки в резиновых перчатках поднимают его, переворачивают, тычут иглами. И страшнее всего — одиночество. Ни одного любящего взгляда. Ни одного тёплого прикосновения. Только холод. Только боль.

— Что... — прошептал он, но голос сорвался.

Видение сменилось. Теперь он сидел на грязной картонке у входа в подземный переход. Мимо шли люди, не глядя на него, обходя, как лужу. Перед ним — мутный стаканчик с кипятком, от которого поднимается пар. Руки — чужие, распухшие, с обломанными ногтями и красными язвами на костяшках — дрожат. Пальцы сжимают стаканчик так, словно это единственная тёплая вещь во вселенной. В голове звучат строчки, которых он никогда не писал, но которые почему-то знает наизусть: «...и падаю, и нет меня вдали, и нет меня, и никогда я не был...». Строчки крутились, повторялись, как заезженная пластинка, и каждая из них отдавалась в сердце тупой, ноющей болью. И вместе с ними — горечь. Горечь человека, который когда-то был гением, чьи стихи печатали в журналах, чьи выступления собирали полные залы, чья жена плакала от счастья, читая его строки. А теперь он роется в мусорных баках у того самого издательства, где когда-то вышла его первая книга. И над ним смеются прохожие. И никто не знает, кем он был.

Артур зажмурился, пытаясь прогнать наваждение. Но видения не уходили. Они накатывали волнами, одно за другим, не давая продохнуть. Четвёртое — панорама ночного Лондона за тонированным стеклом. Огни небоскрёбов, изгиб Темзы, колесо обозрения вдалеке. Запах дорогого одеколona и шампанского. Пустота, которую не заполнить деньгами, какими бы большими они ни были. Золотой кулон на шее — овальный, тёплый от тела. И лицо человека, у которого нет определённых черт. Человек стоял в углу комнаты — незнакомый и одновременно пугающе знакомый, как будто Артур встречал его много раз, в разных жизнях, под разными именами. Он улыбался, но его улыбка была холодной, лишённой тепла, словно её нарисовали на лице, забыв вложить в неё душу. Артур не видел его глаз, но чувствовал их взгляд — пронзительный, оценивающий, насмешливый. Взгляд, который знает о тебе всё. Который видит каждое предательство, каждую слабость, каждый постыдный секрет.

— Кто ты? — прошептал Артур, и слова унеслись в пустоту, не долетев до цели.

Человек не ответил. Он исчез, растворился в воздухе, оставив после себя лишь чувство ледяного, бездонного страха. И запах. Тот же сладковатый, тошнотворный запах, что и в первом видении. Запах гнили. Запах конца.

Артур открыл глаза. Карниз. Ноябрьское утро. Мокрый асфальт внизу. Он тяжело дышал, сердце колотилось где-то в горле, как пойманная птица. Что это было? Галлюцинации? Предсмертный бред, порождённый гипоксией мозга? Или что-то иное — что-то, чему он не знал названия, что-то, что лежало за пределами его понимания? Он не мог ответить. Но одно знал точно: эти видения не были случайными. В них была логика. В них была связь. Как будто кто-то показывал ему фрагменты паззла, который он должен был собрать.

«Я всех вас предал», — подумал он, и эта мысль была единственной ясной в хаосе чужих жизней, нахлынувших на него. «Я предал отца — сдал его, чтобы выслужиться перед тренером, который в итоге меня использовал и выбросил. Я предал Диму — украл его идею, его бизнес, его женщину. Я предал Лену и Сашку — сбежал, когда они нуждались во мне больше всего. Я предал себя — каждый раз, когда выбирал лёгкий путь вместо правильного. Это мой выбор. И я не заслуживаю ничего, кроме этого».

Но теперь к этой мысли добавилась другая — смутная, неоформленная, пугающая: а что, если это ещё не конец? Что, если смерть — не точка, а запятая? Что, если его ждёт что-то после? Не ад с котлами и чертями, не рай с ангелами и арфами, а что-то иное. Что-то, что он уже почти увидел в своих видениях. Что-то, что пряталось за перламутровым светом и холодной улыбкой незнакомца.

Артур поднял глаза к серому небу. Ни звёзд, ни просвета. Только бесконечная, равнодушная мгла, затянувшая горизонт, поглотившая и солнце, и луну, и надежду. Он подумал о том, что там, за этой мглой, ничего нет. Ни ада, нирая. Только пустота, подобная той, что внутри него самого. И это было бы лучшим исходом. Просто исчезнуть. Перестать быть. Не чувствовать. Не помнить. Не предавать.

Шаг. Он не оттолкнулся, не прыгнул — просто разжал пальцы и позволил телу отклониться назад, в пустоту. На мгновение его охватило чувство невесомости, полёта — того самого полёта, о котором он когда-то мечтал в детстве, когда представлял себя птицей. Ледяной ветер ударил в лицо, засвистел в ушах, заглушая все мысли. Мелькнула тёмная громада дома, пятно мусорного бака у подъезда, грязная лужа, в которой отражался серый свет.

А затем — оглушительный, хрусткий удар. Не болью. Просто удар, который погасил всё — звуки, мысли, картинки, чужие лица. Всё схлопнулось в ослепительную точку, в ядро чистой боли, которое тут же рассыпалось в ничто.

И наступила тишина.

Но не тьма.

Тьма — это отсутствие. Пустота. Бездна. А здесь было присутствие. Присутствие чего-то иного, чему Артур не знал названия. Он висел в пространстве, у которого не было ни стен, ни пола, ни потолка, ни верха, ни низа. Вокруг разливался мягкий, перламутровый свет — переливающийся, дышащий, как живое существо, переходящий из жемчужно-серого в розоватый, из розоватого в голубой, из голубого в серебристый. Гул — низкий, баюкающий, похожий на шум далёкого океана или на биение огромного сердца — заполнял всё, проникал в сознание, стирал мысли, смывал страх.

Артур попытался вдохнуть и понял, что у него нет лёгких. Попытался пошевелить рукой — руки не было. У него не было тела. Он был чистым сознанием, точкой восприятия, подвешенной в этом бесконечном, переливающимся свете. Странно, но страха не было. Только покой. Глубокий, всепроникающий, почти наркотический покой, какого он никогда не испытывал при жизни. Как будто кто-то большой и добрый обнял его и сказал: «Всё позади. Теперь всё будет хорошо».

Где-то впереди, в самой сердцевине перламутрового сияния, начал сгущаться силуэт. Сначала — просто уплотнение света, более яркое пятно. Затем — очертания, напоминающие человеческую фигуру. Высокий, статный, с широкими плечами и гордой посадкой головы. Человекоподобный, но лишённый чётких черт. Такой же, как тот, кого он видел в своём последнем видении — в лондонском пентхаусе. Артур узнал его — не глазами, которых у него не было, а чем-то более глубинным, древним, что лежало за пределами пяти чувств. Это был тот самый незнакомец, который улыбался из тени. Тот самый, кто знал всё.

— Эй? — прошелестел Артур без голоса, и этот звук разнёсся по сфере, как круги по воде.

Силуэт не ответил. Но где-то в глубине сознания Артура — или в глубине самой сферы — раздался звук. Тихий, низкий, вибрирующий. Не смех. Предвестие смеха. Обещание. Как будто вселенная на мгновение затаила дыхание перед тем, как расхохотаться.

А затем — Голос. Ласковый, обволакивающий, любящий. Голос, который шёл отовсюду и ниоткуда одновременно. Голос, в котором можно было услышать интонации отца, матери, жены, друга, сына — всех, кого он когда-либо знал и предал. Но в то же время — ни один из них. Это был Голос самой любви. Или того, что называло себя любовью.

— Ты вернулся.

Два слова. Простых, ясных, как удар колокола. И в них было всё: прощение, которого он не заслуживал. Принятие, которого он не ждал. Надежда, которую он давно похоронил.

Перламутровые волны сомкнулись вокруг Артура, обняли его, как воды тёплого моря, и сознание его погасло, как гаснет свеча на ветру — мягко, без борьбы, с чувством облегчения. Он не знал, что будет дальше. Не знал, что этот Голос — лжец. Не знал, что «вернулся» означает не «домой», а «в ловушку». Не знал, что его путешествие только начинается — и что оно будет вечным.

Но где-то в самой глубине его угасающего сознания — там, где ещё теплилась та самая искра, которая заставляла его просыпаться по утрам, — мелькнула тень сомнения. И исчезла, смытая перламутровым светом.

Глава 2. Чрево

Вневременно

Тьма не была тьмой.

Артур понял это не сразу — лишь после того, как ощущение собственного несуществования перестало пугать и стало привычным, как старая одежда. Тьма — это отсутствие. Пустота. Ничто. А здесь, в этом месте, куда он попал после удара об асфальт, было присутствие. Странное, всепроникающее, живое присутствие чего-то, чему он не мог подобрать имени.

Он парил в пространстве без координат. Не было ни верха, ни низа, ни правой стороны, ни левой. Не было тела — он попытался пошевелить рукой и не обнаружил ни руки, ни плеча, ни самого желания двигаться. Не было лёгких, чтобы дышать, — и всё же он не задыхался. Не было глаз, чтобы видеть, — и всё же он видел. Вернее, воспринимал. Как будто всё его существо стало одним большим органом чувств, впитывающим реальность целиком, без разделения на зрение, слух, осязание.

Первое, что он воспринял, — свет. Мягкий, перламутровый, переливающийся, как внутренность морской раковины. Он не имел источника — он просто был повсюду, заполнял собой всё пространство, и это пространство казалось одновременно бесконечным и замкнутым. Как будто Артур находился внутри гигантской сферы, стенки которой состояли из живого, дышащего жемчуга.

Вторым пришёл звук. Низкий, глубокий гул — не механический, не природный, а что-то среднее. Так мог бы звучать океан, если бы океан был живым существом и пел колыбельную самому себе. Этот гул не имел ритма, но в нём чувствовалась пульсация — медленная, размеренная, как сердцебиение огромного спящего зверя. Он обволакивал, проникал внутрь, заставлял вибрировать что-то на самой глубине того, что раньше было душой Артура.

Третьим — покой.

Не просто отсутствие тревоги. Нечто большее. Артур помнил, что с ним случилось. Помнил карниз, холодный бетон под босыми ступнями, запах бензина и прелой листвы. Помнил шаг в пустоту. Помнил удар. Всё это было с ним — и одновременно где-то далеко, как воспоминание о прошлой жизни. Боль, страх, отчаяние, стыд — всё, что составляло его существо в последние месяцы перед смертью, — отступило, поблекло, стало почти нереальным. На их место пришёл этот странный, ни на что не похожий покой. Как будто кто-то большой и заботливый обнял его и сказал: «Всё позади. Теперь всё будет хорошо».

— Где я? — спросил Артур.

Его голос — если это можно было назвать голосом — прозвучал глухо, как сквозь толщу воды. Он не знал, произнёс ли он эти слова вслух или только подумал их. Но ответ пришёл немедленно — не снаружи, а отовсюду одновременно.

— Ты дома.

Голос был... никаким. Он не был мужским, не был женским, не был молодым, не был старым. Он звучал сразу всеми голосами, которые Артур когда-либо слышал, — и в то же время ни одним из них. В нём можно было уловить интонации отца, матери, Лены, Димы, даже Сашки, его больного сына. Но это не было механической смесью — скорее, гармонией, в которой все эти голоса сплавлялись в нечто единое и совершенное. Голос любви. Голос, которому невозможно было не доверять.

— Дома? — повторил Артур. — Я... умер?

— Ты сбросил скорлупу, — ответил Голос, и в нём прорезалась ласковая, успокаивающая интонация, словно взрослый объяснял ребёнку что-то очевидное. — То, что ты называешь смертью, Артур, — это всего лишь выход из одной формы в другую. Как птенец разбивает

скорлупу яйца, чтобы выйти наружу. Как гусеница умирает, чтобы родилась бабочка. Ты не умер. Ты просто освободился.

— Я не понимаю, — прошептал Артур.

— Понимаешь, — мягко возразил Голос. — Ты всегда понимал. Просто забыл. Вы все забываете, когда входите в новую скорлупу. Это необходимо — чтобы опыт был чистым. Но сейчас ты здесь, и память начинает возвращаться. Не торопи её. Дай ей прийти самой.

Артур замолчал, пытаясь осмыслить услышанное. Метафора скорлупы отозвалась в нём странным резонансом — как будто он действительно знал это всегда, но не мог вспомнить. Как будто это знание было встроено в него на каком-то довербальном уровне, как умение дышать или биться сердцу.

Перламутровое свечение вокруг него начало меняться. Волны цвета, прежде плавные и неторопливые, ускорились, стали ярче. В центре сферы, прямо перед тем местом, где Артур ощущал своё «я», начал сгущаться силуэт. Сначала — просто более светлое пятно на фоне перламутра. Затем — очертания, напоминающие человеческую фигуру. Высокий, статный, с широкими плечами и гордой посадкой головы. Но без лица.

Не то чтобы лицо отсутствовало — оно было размытым, как будто художник набросал портрет, но не проработал детали. Артур мог различить только намёки: линия подбородка, впадины глаз, изгиб губ. Но выражения не было. И всё же он чувствовал, что на него смотрят. Смотрят с такой любовью, с таким всепониманием, каких он не встречал ни в одном человеческом взгляде.

— Ты... Бог? — спросил Артур, и в его голосе прозвучала робкая надежда.

— Да, — просто ответил силуэт. — И нет. Я — то, что вы называете Богом. Я — Сущность. Я — начало и конец. Я — всё, что было, и всё, что будет. Но самое главное — я это ты. Ты на более поздней стадии развития. Ты, прошедший путь до конца и вернувшийся к истоку.

— Я не понимаю, — снова сказал Артур. — Как я могу быть тобой? Я — никто. Я предавал. Я разрушал. Я бросил жену и больного сына. Я украл идею у друга. Я сдал отца. Я стоял на карнизе в домашних тапках и...

Он осёкся. Воспоминания нахлынули разом — острые, болезненные, не притуплённые даже этим странным покоем. Лицо отца после того, как его уволили. Глаза Димы, когда он понял, что его предали. Плач Сашки, когда Артур уходил из дома последний раз.

— И поэтому ты здесь, — сказал Голос, и в нём не было ни тени осуждения. — Ты прошёл через всё это не как наказание — как урок. Ты — зреющая душа, Артур. Ты прожил тысячи жизней. Ты был воином и рабом, королём и нищим, матерью и ребёнком, святым и грешником. Всё это — не награда и не кара. Всё это — твоё созревание. Твоя подготовка к тому, чтобы стать тем, кем ты должен стать.

— Кем? — прошептал Артур.

— Творцом, — ответил Бог, и это слово прозвучало как удар колокола. — Ты станешь богом, Артур. Создателем собственной вселенной. Нового мира, с новыми законами, новыми звёздами, новыми формами жизни. Всё, через что ты прошёл, — все эти тысячи жизней, все эти страдания, потери, предательства, — всё это было подготовкой. Ты почти готов.

Артур слушал, и внутри него боролись два чувства. Одно — глубокое, иррациональное недоверие: как такое возможно? Он, ничтожество, предатель, самоубийца, — будущий творец миров? Но второе — ещё более глубокое, древнее — отзывалось на слова Бога с какой-то странной, необъяснимой уверенностью. Как будто он действительно знал это всегда. Как будто он просто забыл — и теперь вспоминал.

— Почему я не помню прошлые жизни? — спросил он.

— Потому что память — яд для скорлупы, — ответил Бог терпеливо. — Представь, что ты помнил бы всё. Каждую боль. Каждую смерть. Каждое предательство, совершённое тобой и над тобой. Тысячи жизней боли, спрессованные в одно сознание. Ты бы сошёл с ума. Твой

разум не выдержал бы такой нагрузки. Поэтому, когда душа входит в новую скорлупу, память стирается. Ты начинаешь с чистого листа. Но опыт, который ты получаешь, никуда не исчезает — он накапливается в самой ткани твоей души, делая её больше, мудрее, ближе к тому, чем она должна стать.

— Тысячи жизней, — повторил Артур. — И много мне ещё осталось?

— Пять, — сказал Бог.

Тишина. Перламутровые волны замерли. Даже гул, казалось, стих на мгновение.

— Всего пять скорлуп, — продолжил Бог, и его голос наполнился теплотой и ободрением. — Самых трудных. Самых болезненных. Финальное испытание. Если хочешь, итоговый экзамен. Ты пройдёшь через пять жизней, которые покажут тебе твою тень с разных сторон. А потом — ты вылупишься.

— И стану богом, — прошептал Артур.

— И станешь богом, — подтвердил силуэт. — Творцом. Созидателем. Новым началом.

Артур молчал. Слова Бога отдавались в нём эхом, и с каждым отзвуком он чувствовал, как где-то в самой глубине души зажигается крошечная искра. Искра надежды. Надежды, которую он давно считал погасшей навсегда.

— Ты дашь мне доказательство? — спросил он.

Силуэт слегка колыхнулся. Артуру показалось, что Бог улыбнулся — не ртом, а всем своим существом.

— Доказательство? Ты стоишь перед лицом вечности и просишь доказательств?

— Я хочу знать, что это не сон. Не галлюцинация. Не предсмертный бред. Я хочу знать, что это правда.

Бог помолчал. Затем перламутровое пространство вокруг Артура дрогнуло и пошло рябью, как поверхность воды от брошенного камня. И в этой ряби начали проявляться образы — сперва размытые, затем всё более чёткие.

— Смотри, — сказал Бог. — Это твоё будущее. Фрагменты пяти жизней, которые тебе предстоит прожить.

Артур увидел красный бархат. Тот самый, из своего предсмертного видения. Увидел женское лицо в мутном зеркале — измождённое, больное, но ещё хранящее следы былой красоты. Женщина сидела на кровати в тесной комнате и смотрела на свои руки, покрытые красноватой сыпью. Пахло духами и гнилью.

— Это первая, — сказал Бог.

Картина сменилась. Стекланный купол. Трещина на нём. И крошечное существо внутри — младенец, опутанный трубками, покрытый язвами. Свет лампы бил ему прямо в лицо. Вокруг суетились люди в белых халатах, но никто не смотрел на него с любовью.

— Это вторая.

Следующая картина: заснеженный город, похожий на Петербург. Грязный подземный переход. Человек в драном пальто сидит на картонке, грея руки над картонным стаканчиком. Его пальцы дрожат. В глазах — смесь гордости и безнадежности.

— Третья.

Четвёртая: панорама ночного Лондона за стеклом. Дорогой пентхаус, полный пустоты. Молодой человек с золотым кулоном на шее стоит у окна, глядя на город. Его лицо красиво, но в глазах — та же безнадежность, что и у бродяги из предыдущего видения.

— Четвёртая.

И последняя — та, от которой у Артура сжалось бы сердце, если бы оно у него было. Его собственная жизнь. Его город. Его квартира. Он сам — только моложе, полный надежд, ещё не совершивший всех своих предательств. И отец, и мать, и Дима, и Лена, и Сашка. Все они были там, в этом видении, живые и настоящие.

— Пятая, — закончил Бог. — Та самая, из которой ты только что ушёл. Ты проживёшь её снова. Без памяти обо мне, без памяти о других жизнях. И только в конце, когда всё закончится, ты поймёшь, зачем это было нужно.

Артур смотрел на эти образы, и его переполняли чувства, которых он не мог выразить словами. Страх — потому что каждая из этих жизней выглядела как наказание. Надежда — потому что за ними маячило обещание чего-то большего. И странное, томительное узнавание — как будто он действительно уже видел всё это когда-то, во сне или в другой, забытой жизни.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Я сделаю это. Я проживу эти пять жизней.

— Я знал, что ты согласишься, — ответил Бог. — Ты всегда соглашаешься. Это твоя природа — идти вперёд, даже когда очень страшно.

— Что мне нужно делать?

— Ничего особенного. Просто жить. Ты войдёшь в первую скорлупу, родишься заново — в новом теле, в новом времени, в новом месте. Ты не будешь помнить ни меня, ни этот разговор. Ты будешь чист. Ты проживёшь эту жизнь до конца — какой бы она ни была — и умрёшь. А когда умрёшь, вернёшься сюда. Мы поговорим снова. Так будет пять раз.

— А на пятый?

— На пятый ты уже не вернёшься, — в голосе Бога зазвучала торжественная нота. — Ты разорвёшь скорлупу изнутри и выйдешь за её пределы. В свою собственную вечность. В свою собственную вселенную. Ты станешь тем, кем должен был стать с самого начала.

Артур хотел спросить ещё что-то — но что именно, он не знал. Вопросы роились в его сознании, как пчёлы, но ни один не мог оформиться в слова. Что это будут за жизни? Будет ли ему больно? Сможет ли он выдержать? Почему именно пять, а не десять, не сто, не одна?

Но прежде чем он успел задать хотя бы один из этих вопросов, перламутровое пространство вокруг него начало меняться. Волны ускорились. Цвета стали ярче, резче, тревожнее. В дальнем конце сферы — если у сферы был дальний конец — появилась точка. Тёмная. Пульсирующая. Она росла, приближалась, затягивая его в себя, как вода затягивает щепку в водоворот.

— Подожди! — крикнул Артур. — Я ещё не готов! Я хочу знать...

— Ты готов, — донёсся голос Бога, уже удаляющийся. — Ты всегда был готов. Просто дыши. И помни: ты не один. Ты никогда не был один.

Воронка закрутилась быстрее. Артура несло по туннелю — длинному, пульсирующему, живому. Мелькали цвета, мелькали образы — обрывки прошлого и будущего, перемешанные в один ослепительный поток. Он чувствовал, как его сознание сжимается, сворачивается, как будто кто-то складывал лист бумаги, делая его всё меньше и меньше.

И в этот момент — на самой границе между бытием и небытием — он увидел его.

Сначала он подумал, что это игра света. Но нет — в перламутровой стене туннеля, на мгновение ставшей зеркальной, отразился не он. Не Артур. Не его размытое, лишённое черт лицо.

Там, в отражении, стоял кто-то другой.

Человекоподобная фигура, сотканная из того же света, что и Бог, — но иная. Более резкая, более угловатая. Она стояла в стороне, у самого края зрения, и смотрела на Артура. У неё не было лица — как и у Бога. Но если Бог излучал любовь и покой, то эта фигура излучала холод. Ледяной, пронизывающий холод, от которого веяло не злобой, а скорее бесконечным, древним равнодушием.

И ещё — она улыбалась.

Артур не видел её губ, но он чувствовал улыбку. Не тёплую, не ободряющую — холодную, оценивающую, насмешливую. Так улыбается игрок, который знает исход партии задолго до того, как противник сделает первый ход.

— Кто... — начал Артур, но голос сорвался.

Фигура не ответила. Она лишь поднесла палец — длинный, неестественно тонкий — к тому месту, где у человека были бы губы. Жест молчания. Или, может быть, жест предупреждения.

А затем она исчезла. Растворилась в перламутровой взвеси, как будто её никогда не было. Артура выбросило из туннеля. Сознание схлопнулось в ослепительную точку. И затем — Крик. Свет. Боль.

Где-то далеко, на другом конце реальности, в другом времени и другом месте, женщина, которой суждено было стать его первой скорлупой, открыла глаза. Над ней нависал красный бархат. Вокруг пахло духами, потом и болезнью.

Но это было уже не здесь. Не в перламутровой сфере, которая теперь опустела.

Силуэт Бога ещё некоторое время парил в центре. Затем его очертания дрогнули и начали меняться. Перламутровое свечение потускнело. Теплота, наполнявшая пространство, сменилась холодом — медленно, постепенно, как остывает печь, в которой погасили огонь.

И когда свет померк окончательно, в сфере осталась только та, вторая фигура. Та, что пряталась в отражении. Она вышла из тени — если можно назвать это выходом — и заняла место Бога. Точно в центре. Точно там, где только что парил любящий, ласковый силуэт.

Она подняла руку — длинную, тонкую, нечеловеческую — и провела по воздуху. В том месте, где прошли её пальцы, перламутр пошёл рябью, и в этой ряби проступило изображение: женщина в грязной парижской комнате, пытающаяся встать с кровати.

— Начинается, — произнесла фигура.

Её голос был не ласковым и не гневным. Он был никаким — как шелест сухих листьев, как скрип половиц в пустом доме. И всё же в нём можно было различить что-то похожее на предвкушение.

— Посмотрим, червь, как ты справишься с первой скорлупой.

Фигура издала звук — тихий, низкий, вибрирующий. Не смех. Но что-то очень близкое к нему.

Затем всё стихло.

Сфера опустела. Перламутр потускнел окончательно. Гул прекратился.

И где-то далеко, на грязной мостовой под парижским небом, женщина по имени Соледад закашлялась и открыла глаза.

Её первая жизнь началась.

Она ещё не знала, что за ней стоит фигура без лица. Не знала, что её выборы уже predetermined. Не знала, что в конце её ждёт не освобождение, а новая петля.

Но где-то глубоко внутри — там, где память о прошлых жизнях спала беспробудным сном, — что-то шевельнулось. Какое-то смутное, неоформленное предчувствие. Тень грядущего.

Она отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Встала. Подошла к зеркалу.

И начался первый день первой скорлупы.

Глава 3. Красный бархат

Париж, 1926 год

Запах ударил в ноздри прежде, чем она открыла глаза. Густой, многослойный, удушающий — дешёвые духи с ароматом увядших фиалок мешались с кислым потом, застарелым табачным дымом, прокисшим вином и чем-то ещё. Чем-то сладковатым и тошнотворным, что она не могла определить, но что всегда чувствовала в этой комнате. Запах гнили. Запах конца.

Соледад закашлялась и села на кровати.

Потолок над ней был затянут красным бархатом — выцветшим, потерявшим былую роскошь, покрытым пятнами, происхождение которых ей не хотелось знать. Ткань провисла под собственной тяжестью, собирая пыль и копоть от керосиновой лампы, которая свисала на голом шнуре и покачивалась от сквозняка. В её тусклом, желтушном свете плясали тени — причудливые, ломаные, как сама жизнь Соледад.

Она спустила ноги с кровати и поморщилась от боли. Ноющая, тупая, привычная боль в пояснице, в плечах, в запястьях. И глубже, внутри — боль иного рода, которую она старалась не замечать. Та боль, что началась несколько месяцев назад с маленькой красной сыпи на груди и теперь расплзалась по телу, как пожар по сухой траве.

Она знала, что это. Знала — и отказывалась признавать.

Она помнила, как впервые заметила эту сыпь. Это было в конце августа, в самую жару. Она стояла перед зеркалом, пытаясь застегнуть платье, и вдруг увидела на груди несколько красных пятнышек. Тогда она подумала, что это от жары, от пота, от грубой ткани. Но пятна не прошли ни через неделю, ни через две. Наоборот — они стали больше, начали шелушиться, зудеть. И тогда она поняла. Поняла — и ничего не сделала. Потому что боялась. Боялась врачей с их холодными инструментами и осуждающими взглядами. Боялась, что кто-то узнает. Боялась, что мадам вышвырнет её на улицу. А улица для больной проститутки — это смерть. Долгая, мучительная, одинокая смерть под забором, в грязи, без покаяния и без свидетелей.

— Очнулась, красавица? — голос мадам Клодетт прозвучал от двери.

Соледад подняла голову. Хозяйка борделя стояла, прислонившись к косяку, и курила папиросу. Грузная женщина с лицом, густо покрытым пудрой, сквозь которую проступали красные прожилки. Глаза — маленькие, злые, как у крысы, почуявшей добычу. Она была одета в неизменное чёрное платье, которое делало её похожей на ворону, прилетевшую на падаль. Соледад часто думала, что мадам Клодетт когда-то, может быть, была красивой. Но теперь от той красоты не осталось и следа — только жадность, подозрительность и вечная, всё сжигающая ненависть.

— Ты вчера была никакая, — продолжала мадам, выпуская струю дыма в потолок. — Клиент остался недоволен. Пришлось возвращать деньги.

— Я... мне нездоровилось, — сказала Соледад, и это была правда. Вчера вечером её лихорадило, перед глазами всё плыло, и она едва держалась на ногах. Клиент — какой-то коммивояжёр из Лиона — кричал, что она «холодная, как рыба», и требовал назад свои франки. Мадам, скрепя сердце, вернула.

— Мне плевать, — отрезала мадам. — Ты здесь, чтобы работать, а не болеть. Сегодня вечером у нас гости. Англичане. Они богатые. И чтобы ты была в форме. Приведи себя в порядок. Замажь синяки. Сделай что-нибудь с волосами. И ради всего святого — улыбайся. Ты хоть помнишь, как это делается?

Мадам развернулась и вышла, оставив за собой шлейф табачного дыма и тяжёлое ощущение безысходности, которое всегда следовало за ней по пятам.

Соледад осталась одна.

Она встала и подошла к мутному зеркалу на стене. Оттуда на неё смотрела женщина, которая выглядела на сорок, хотя ей было тридцать два. Чёрные волосы, когда-то густые и блестящие, как антрацит, теперь были тусклыми, как старая солома, и висели безжизненными прядями. Лицо, когда-то красивое — правильные черты, большие карие глаза, высокие скулы, — теперь было измождённым, с заострившимися скулами и серой, нездоровой кожей. И сыпь. Красноватая, бугристая сыпь на груди и шее, которую она пыталась замазать пудрой, но та всё равно проступала, как клеймо.

Сифилис. Она знала это уже месяц. Знала — и не ходила к врачу, потому что боялась. Если мадам узнает, её вышвырнут на улицу в тот же день. А улица для больной проститутки — это смерть. Долгая, мучительная, одинокая.

Она плеснула в лицо водой из кувшина. Вода была тёплой и пахла ржавчиной. Затем принялась одеваться — медленно, экономя силы. Старое платье из дешёвого шёлка, когда-то красное, теперь выцветшее до грязно-розового. Чулки со штопкой. Стоптаные туфли. Каждое движение отзывалось болью в суставах, но она привыкла. Привыкла ко всему.

Пока она одевалась, в голове крутились обрывки воспоминаний — не о вчерашнем дне, не о прошлой неделе, а о чём-то более далёком. Солнечный свет, заливающий внутренний двор. Запах апельсиновых деревьев. Чей-то смех — детский, звонкий. И гитара.

Танец.

Когда-то она умела танцевать. В Севилье, где прошло её детство, в большой, шумной семье, где отец играл на гитаре, а мать хлопала в ладоши. Их дом был маленьким, но полным жизни. Отец работал кузнецом, мать — прачкой. Детей было семеро, и Кармен — так её звали тогда, до того как она стала Соледад — была старшей. Она помогала матери по хозяйству, нянчила младших, но каждый вечер, когда отец брал гитару, она забывала обо всём. Она выходила в круг, и ноги сами начинали двигаться. Соседи собирались посмотреть. Они хлопали, кричали «оле!», бросали монетки. Отец улыбался и говорил: «Ты будешь знаменитой, Карменсита». Он называл её Карменсита — маленькая Кармен. Так её никто больше не называл.

Куда всё это делось?

Ответ был простым и страшным: жизнь. Побег из дома с человеком, который обещал любовь, а продал её в бордель в Марселе. Его звали Мигель. У него были красивые глаза и сладкие речи. Он говорил, что увезёт её в Париж, что они будут танцевать в лучших театрах, что он сделает её звездой. Ей было семнадцать. Она поверила. Она украла у отца деньги — немного, совсем немного, — и сбежала с Мигелем ночью, ни с кем не попрощавшись. Даже с младшей сестрой, которую любила больше всех. Через три дня они были в Марселе. Через неделю Мигель продал её в бордель. Она никогда больше его не видела.

Потом были долгие скитания. Она сбежала из Марселя с одним моряком, который оказался не лучше Мигеля. Потом — работа в тавернах, случайные заработки, голод, холод. И наконец — Париж. Она думала, что Париж — это город света, город свободы. Но Париж оказался лишь очередным лабиринтом, где она блуждала без карты. Мадам Клодетт подобрала её на улице — больную, голодную, отчаявшуюся. Дала кров, еду, работу. И взяла за это всё. Всю её жизнь.

Дверь скрипнула.

В щель просунулась голова — молодая, почти детская, с копной рыжих волос и огромными карими глазами.

— Соледад! Ты встала!

Это была Аннет. Ей едва исполнилось шестнадцать. Она появилась в борделе три месяца назад — худенькая, запуганная, с синяками на руках. Сбежала из деревни где-то под Лионом, от пьющего отца и голода. Мадам купила её за бесценок у какого-то сутенёра и сразу же пустила в дело.

Соледад не знала, почему, но она привязалась к этой девочке. Может быть, потому что Аннет напоминала ей младшую сестру — ту, что осталась в Севилье. Может быть, потому что Аннет напоминала ей её саму — ту, прежнюю, до того как жизнь сломала её. А может быть, потому что в Аннет ещё теплилась какая-то невинность, которую Соледад давно в себе убила. Она взяла Аннет под свою опеку: учила, как разговаривать с клиентами, чтобы они не били; как прятать деньги от мадам, зашивая их в подкладку; как защищаться, если мужчина становится жестоким — притвориться мёртвой, обмякнуть, не сопротивляться. Сама она узнала это слишком поздно. Аннет называла её «*ma petite maman espagnole*» — моя маленькая испанская мама, — и это было единственное, что ещё вызывало у Соледад подобие улыбки.

— Встала, — ответила Соледад, застёгивая платье. — А ты почему не спишь?

— Не могу, — Аннет присела на край кровати, поджав под себя ноги. Она была в одной сорочке, рыжие волосы растрепаны, на щеке — след от подушки. — Мадам сказала, сегодня будут гости из Англии. Мне страшно.

— Не бойся, — сказала Соледад, поправляя причёску. — Англичане обычно ведут себя прилично.

— Дело не в этом, — Аннет опустила глаза и начала теревить край простыни. — Простынь раз один из них меня ударил. За то, что я заплакала. Он сказал... он сказал, что ему нравится, когда я плачу.

Соледад замерла. Она знала этот тип мужчин. Самый опасный. Тот, кому не нужна женщина — ему нужна боль. Ему нужны слёзы и страх. И однажды, если его не остановить, ему понадобится кровь. Соледад сталкивалась с такими раньше, ещё в Марселе. Один из них едва не убил её. Она до сих пор помнила его лицо — худое, с тонкими губами и холодными, как у змеи, глазами. И его улыбку. Он улыбался, когда делал ей больно.

— Кто именно? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Как он выглядел?

— Высокий. Тощий. С такими... с голодными глазами. Он всё время облизывал губы, как будто собирался меня съесть. И ещё с ним был другой. Постарше. Тот ничего не делал, просто стоял и смотрел. И улыбался.

— Улыбался?

— Да. Так странно. Как будто он знал что-то, чего не знали все остальные.

У Соледад по спине пробежал холодок. Она не знала этих людей, но что-то в описании второго мужчины — того, что улыбался — показалось ей смутно знакомым. Не из прошлого опыта, а из какого-то более глубокого, древнего слоя памяти, о существовании которого она даже не подозревала. Как будто она уже встречала эту улыбку раньше. Не в этой жизни. В какой-то другой. В каком-то другом мире.

— Если они придут сегодня, — сказала она, отгоняя наваждение, — держись рядом со мной. Я что-нибудь придумаю.

— Правда? — в глазах Аннет блеснула надежда. Та самая детская надежда, которую Соледад давно в себе похоронила.

— Правда, — соврала Соледад. Она не знала, что придумает. Но она должна была попытаться. Потому что если она не попытается — кем она тогда станет?

День тянулся бесконечно. Соледад помогала по хозяйству — мыла посуду после скудного завтрака, зашивала порванное платье одной из девушек, перестилала постели в комнатах второго этажа. Работа помогала не думать. Но боль в теле не утихала, а к вечеру поднялась температура. Она чувствовала, как жар разливается по венам, как кожа становится горячей и сухой, а внутри что-то пульсирует — злое, живое, растущее.

Другие девушки тоже готовились. Мари, самая старшая, красила губы перед зеркалом и ворчала себе под нос: «Опять англичане. В прошлый раз они перевернули весь дом вверх дном». Жюли, молоденькая брюнетка с вечно испуганными глазами, дрожащими руками застёгивала платье. Иветт, самая бойкая, вертелась перед зеркалом и напевала модную песенку.

Обычная суэта перед «приёмом». Соледад видела это десятки раз. Но сегодня всё было иначе. Сегодня в воздухе висело что-то тяжёлое, тревожное. Как будто сам дом знал, что должно случиться.

Когда стемнело, началась подготовка. Девочек выстроили в гостиной — шесть женщин разного возраста, от шестнадцатилетней Аннет до сорокалетней Мари, которая работала здесь ещё до войны. Все в лучших платьях, покрашенные, напудренные, с фальшивыми улыбками на лицах. Как товар на витрине. Мадам обошла строй, придирчиво оглядывая каждую. Она поправила вырез на платье Жюли, одёрнула рукав Иветт, велела Мари стереть слишком яркую помаду. Когда она дошла до Соледад, её взгляд задержался на сыпи на шее.

— Это ещё что? — спросила она, указывая пальцем.

— Аллергия, — сказала Соледад. — На шёлк.

— Аллергия, — повторила мадам недоверчиво. — Смотри, если это заразное — вышвырну на улицу.

— Это не заразное, — солгала Соледад.

Мадам хмыкнула и отошла.

Гости прибыли около десяти. Сначала Соледад услышала шум мотора — автомобиль остановился у дверей. Потом — голоса в прихожей, мужской смех, грубые шутки. Затем дверь в гостиную распахнулась, и вошли трое.

Они были в дорогих костюмах — английский твид, шерсть, кожа. От них пахло одеколоном, сигарами и деньгами. Один — толстый, лысеющий, с красным лицом и одышкой, который, едва войдя, начал оглядывать девушек, как скаковых лошадей. Вторым — тот самый тощий, с голодными глазами. Он двигался медленно, почти крадучись, и его взгляд сразу нашёл Аннет. Девочка побледнела.

И третий.

Третий держался позади, в тени. Он был старше остальных — лет пятидесяти, может, больше. Худощавый, с благородными чертами лица, которые, однако, были какими-то... размытыми. Соледад попыталась разглядеть его получше, но свет лампы падал так, что его лицо всё время оставалось в полутьме. Она видела только глаза — тёмные, глубоко посаженные, с выражением, которое она не могла разгадать. И улыбку. Тонкую, едва заметную, но от которой веяло холодом.

— Кто это? — шёпотом спросила она у Мари.

— Не знаю, — так же шёпотом ответила та. — Кажется, друг тех двоих. Или компаньон. Он был здесь в прошлый раз. Просто сидел и смотрел. Ничего не делал. Даже не пил.

«Просто сидел и смотрел». Почему-то от этих слов Соледад стало не по себе больше, чем от присутствия тощего садиста. Тот хотя бы был понятен — он был зверем, примитивным и предсказуемым. А этот... этот был загадкой. И загадка эта пугала.

Мадам суетилась, рассаживая гостей, предлагая шампанское и закуски. Мужчины развалились в креслах, разглядывая девушек с ленивым интересом. Толстый ткнул пальцем в Соледад.

— Эта. Испанка. Пусть станцует.

Мадам хлопнула в ладоши. Соледад вышла в центр комнаты. Патефон зашипел, выпуская хриплую мелодию — какое-то подобие фламенко, которое здесь считали «экзотикой». Она закрыла глаза и попыталась вспомнить. Танец. Движения. Ритм.

Когда-то это было её даром. Когда-то она могла заставить целую площадь замереть, глядя на неё. Когда-то её ноги двигались сами, повинувшись музыке, а не приказам. Но сейчас... сейчас ноги не слушались. Она сделала несколько шагов, попыталась выбить дробь каблуками, но споткнулась о край потёртого ковра. Качнулась, едва не упала. В глазах поплыли круги.

Мужчины засмеялись.

— Неуклюжая корова, — сказал толстый, утирая слезящиеся от смеха глаза.

Соледад опустила голову. Унижение обожгло, но это была привычная боль. Она повернулась, чтобы уйти, но тут её взгляд упал на третьего гостя — того, что сидел в тени. Он не смеялся. Он смотрел на неё — пристально, изучающе. И улыбался. От этой улыбки у Соледад мурашки побежали по спине.

— Ничего, — сказал он негромко, но она услышала. — У тебя ещё будет возможность показать себя. Другая возможность.

Странная фраза. Соледад не поняла, что он имел в виду, но переспрашивать не стала.

Толстяк поднялся и, тяжело дыша, направился к ней.

— Ладно, веди наверх, — буркнул он. — В постели, надеюсь, ты лучше, чем на танцполе.

Она повела его наверх, в комнату с красным бархатом. Там всё повторилось: механические, заученные движения, чужие руки на теле, чужой вес, придавивший её к матрасу. Она считала трещины на потолке — тридцать две, тридцать три — и старалась не думать ни о чём. Это был её способ выживать — считать, пока это происходит. Считать и думать о чём-то другом. О солнце в Севилье. О запахе апельсинов. О голосе отца. О чём угодно, только не о том, что происходит сейчас.

Когда толстяк закончил, он швырнул на тумбочку несколько смятых купюр и вышел. Соледад осталась лежать, не в силах пошевелиться. Ей казалось, что её тело — пустой сосуд, из которого вылили всё содержимое. Так было всегда. Она привыкла.

А потом она услышала крик.

Кричала Аннет.

Соледад вскочила и бросилась в коридор. Крик доносился из комнаты Аннет — последней по левой стороне. Дверь была заперта. Она заколотила кулаками.

— Аннет! Открой!

Крик оборвался. Повисла тишина — страшная, звенящая, хуже любого крика. Затем шаги. Дверь распахнулась.

На пороге стоял тощий англичанин. Он был без пиджака, в расстёгнутой рубашке. Поправлял ремень брюк. На лице блуждала расслабленная, довольная улыбка.

— Чего тебе? — спросил он лениво.

Соледад попыталась заглянуть в комнату, но он загородил проход.

— Она ведь ещё ребёнок, — прошептала она. — Что ты с ней сделал?

— Уже не ребёнок, — ухмыльнулся он и оттолкнул её. Она ударилась плечом о косяк и упала на пол.

Когда она поднялась, англичанин уже спускался по лестнице. Соледад вошла в комнату. Аннет лежала на кровати, сжавшись в комок. Лицо было разбито — губа рассечена, глаз заплывал. На простыне расплывалось пятно крови. Она дышала часто и поверхностно, как загнанный зверёк.

— Я здесь, — прошептала Соледад, опускаясь на колени у кровати. — Я с тобой. Я отведу тебя к врачу. Мы уйдём отсюда. Я тебе обещаю.

Аннет не ответила. Она только смотрела на Соледад — не с укором, не с обидой, а с каким-то странным, недетским пониманием. Как будто она знала, что обещание лживо. Как будто она знала, что Соледад не сможет его сдержать.

Утром Соледад спустилась к мадам и попыталась объяснить, что Аннет нужен врач. Мадам лишь отмахнулась.

— Они заплатили. За всё. Включая ущерб. Не лезь не в своё дело.

— Но она истекает кровью!

— Значит, такова её судьба, — равнодушно сказала мадам и отвернулась.

Соледад стояла, сжимая кулаки, и чувствовала, как внутри неё закипает бессильная ярость. Она хотела закричать, хотела ударить мадам, хотела сбежать из этого проклятого дома

вместе с Аннет и никогда не возвращаться. Но она знала, что это невозможно. У неё не было денег. У неё не было документов. Она была больна и слаба. И самое главное — она боялась.

Страх. Вот что управляло её жизнью. Не любовь, не надежда, не вера. Страх. Он был её истинным хозяином, а мадам Клодетт — лишь его представительницей.

Вечером того же дня, когда Соледад сидела в своей комнате и пыталась заштопать очередное платье, дверь открылась без стука. Она подняла голову и вздрогнула.

На пороге стоял третий англичанин.

Тот самый, что сидел в тени и улыбался.

Теперь, вблизи, он выглядел иначе. Не старше, не моложе — просто иначе. Его лицо по-прежнему казалось размытым, как будто она смотрела на него сквозь запотевшее стекло. Черты ускользали, не даваясь глазу. Только глаза оставались резкими, чёткими, пронзительными. И улыбка — всё та же, холодная, оценивающая.

— Мадам сказала, ты свободна, — произнёс он. Голос у него был негромкий, вкрадчивый, с лёгким акцентом, который она не могла определить. Не английский, не французский — какой-то универсальный, как будто он мог говорить на любом языке. — Я подумал, мы могли бы поговорить.

— Я не разговариваю с клиентами, — сказала Соледад. — Если вы хотите...

— Я не клиент, — перебил он. — Во всяком случае, не в том смысле. Мне не нужно твоё тело. Мне нужен твой разговор.

Он прошёл в комнату и сел в кресло без приглашения. Двигался он странно — слишком плавно, слишком тихо, как хищник, который не хочет спугнуть добычу. Соледад заметила, что он не издавал ни звука при ходьбе, хотя пол в этой комнате отчаянно скрипел под всеми остальными. Это было неестественно. Это пугало.

— О чём? — спросила Соледад настороженно.

— О тебе. О твоей жизни. О твоём выборе.

— У меня нет выбора.

— Выбор есть всегда, — он чуть склонил голову набок. — Даже когда кажется, что его нет. Например, сейчас. Ты можешь выгнать меня — это один выбор. Можешь позвать мадам — другой. Можешь выслушать — это уже третий.

— Зачем мне вас слушать?

— Затем, что я могу тебе помочь.

Соледад недоверчиво хмыкнула.

— Помочь? Вы? Вы — друг того человека, который избил Аннет до полусмерти. Вы сидели и смотрели. И после этого вы говорите, что хотите помочь?

— Я не друг ему, — спокойно ответил англичанин. — Я просто путешествую с ними. У каждого свои интересы. Мои интересы — несколько иного рода.

Он достал из кармана портсигар, извлёк папиросу и закурил. Дым поднялся к потолку, закружился вокруг красного бархата. Соледад следила за ним, как за змеей. Она понимала, что этот человек опасен — опаснее, чем тощий садист, опаснее, чем мадам, опаснее, чем любой из клиентов, которые когда-либо переступали порог этого дома. Потому что его опасность была не физической. Она была какой-то другой. Как яд, который не чувствуешь, пока не становится поздно.

— Ты больна, — сказал он. — Я вижу это по твоей коже, по твоим глазам. Ты знаешь, чем это кончится.

Соледад молчала.

— Мадам вышвырнет тебя на улицу, как только ты перестанешь приносить деньги. А это случится скоро. Очень скоро. Ты умрёшь под забором, в одиночестве и грязи. И никто не вспомнит о тебе.

— Зачем вы мне это говорите?

— Чтобы ты поняла, — он подался вперёд, и его глаза блеснули в тусклом свете лампы.
— У тебя есть выход. Не самый приятный, но единственный.

— Какой?

— Аннет.

Имя повисло в воздухе. Соледад почувствовала, как внутри у неё всё сжалось.

— Что — Аннет?

— Тот мой спутник, тощий, — он очень интересуется ею. Он готов платить. Много. Но мадам сказала, что Аннет пока не в форме. Нужно кого-то другого. А ты могла бы... убедить её. Ты ведь для неё как мать. Она слушает тебя.

— Вы предлагаете мне... — Соледад не договорила. Слова застряли в горле.

— Я предлагаю тебе выжить, — закончил он. — Аннет всё равно долго не протянет. Она слишком нежная для этой жизни. Рано или поздно кто-то сломает её окончательно. Так почему не ты? Почему не сейчас, когда это может спасти тебя?

— Убирайтесь, — прошептала Соледад.

Англичанин не двинулся. Он продолжал сидеть, курить и смотреть на неё — всё с той же холодной, понимающей улыбкой.

— Ты думаешь, что я жесток, — сказал он. — Но я всего лишь показываю тебе правду. Ты знаешь, что я прав. Ты знаешь, что у тебя нет другого выхода. Ты можешь притворяться благородной, можешь тешить себя иллюзиями — но в глубине души ты уже всё решила. Просто боишься признаться себе.

— Я не...

— Ты, — перебил он. — Ты — выживальщица, Соледад. Всегда ею была. Ты сбежала из дома, бросив семью. Ты предала человека, которого любила, чтобы спастись. Ты делала вещи похуже, чем продать Аннет. Просто ты предпочитаешь не вспоминать о них.

Соледад молчала. Его слова были как удары ножа — точные, безжалостные, попадающие в самое больное. Откуда он знал? Откуда он знал о её побеге из Севильи? О Мигеле, которого она предала в Марселе? Обо всех тех мелких и крупных подлостях, которые она совершила за свою жизнь? Она никому об этом не рассказывала. Никто не знал этих подробностей.

— Кто вы? — спросила она, и её голос дрогнул.

— Твой друг, — ответил он. — Твой единственный друг в этом городе. Хотя ты этого и не понимаешь.

Он встал, погасил папиросу о подоконник и направился к двери. На пороге обернулся.

— Подумай над моими словами. У тебя есть время до завтрашнего вечера. Потом он уедет — и возможность будет упущена. Вместе с ним уедет и твой шанс на спасение.

— У меня нет шанса, — сказала Соледад.

— Есть, — он улыбнулся. — Просто он тебе не нравится.

И вышел, бесшумно притворив за собой дверь.

Соледад осталась одна. Она сидела на кровати, глядя в одну точку, и чувствовала, как внутри неё что-то ломается. Какая-то перегородка, отделявшая её от правды о себе. Этот странный человек сказал то, что она всегда знала, но боялась признать. Она действительно была выживальщицей. Она действительно предавала всех, кого любила. И она действительно уже всё решила — в ту самую секунду, когда он произнёс имя Аннет.

Ночью она не спала. Лежала, глядя в красный бархат на потолке, и думала. Перед глазами стояло лицо Аннет — разбитое, но всё ещё хранящее следы детской нежности. И другое лицо — лицо англичанина, которое она не могла запомнить, но которое преследовало её, как кошмарный сон. Его улыбка. Его слова. «Ты уже всё решила».

К утру она поняла, что он прав. Она действительно всё решила.

День прошёл как в тумане. Она выполняла свои обычные обязанности, но всё валилось из рук. Мадам сделала ей замечание, но Соледад не слышала. Она думала только об одном:

вечер. Сегодня вечером всё случится. Она подойдёт к мадам и скажет, что Аннет поправилась. И тощий англичанин получит то, что хочет. А она получит отсрочку. Ещё немного времени. Ещё немного жизни.

Вечером она пошла к мадам и сказала, что Аннет поправилась и готова работать. Мадам удивилась, подняла бровь, но деньги перевесили сомнения. Она кивнула и велела позвать Аннет.

Соледад стояла в коридоре, прижавшись спиной к холодной стене, и слушала крики. Аннет кричала долго. Очень долго. Кричала, звала на помощь, звала её — «Соледад! Соледад!». А потом крики стихли, наступила тишина — страшная, звенящая, хуже любого крика. Тощий англичанин вышел из комнаты, поправляя рубашку. Он прошёл мимо, даже не взглянув на неё. За ним, чуть позже, проследовал третий — тот, что улыбался. Он остановился рядом с ней и сказал негромко:

— Ты всё сделала правильно.

И ушёл.

Соледад не вошла в комнату. Не проверила, жива ли Аннет. Она просто развернулась и пошла в свою комнату, где села на кровать и уставилась в стену. Слез не было. Не было даже чувства вины — только глухая, бездонная пустота, как будто кто-то выключил ту часть её души, которая умела чувствовать.

Я предала её. Я предала её, как предавали меня. Потому что я такая же гнилая, как этот бархат.

На тумбочке лежал маленький предмет, который она заметила только сейчас. Золотой кулон — овальный, изящный, с миниатюрной гравировкой, изображавшей цветок или звезду. Она не помнила, как он здесь оказался. Кажется, она украла его у какого-то клиента много месяцев назад и спрятала на чёрный день. Теперь она взяла его в руки. Он был тёплым от её пальцев. Овальным. Похожим на... на что?

На яйцо, подсказал ей внутренний голос. На крошечное золотое яйцо, внутри которого что-то спрятано.

Она сжала его в ладони, и почему-то от этого жеста ей стало чуть легче. Как будто этот кулон связывал её с чем-то большим, чем она сама. С чем-то, что она не могла понять, но чувствовала.

Через два дня Аннет умерла. Она так и не пришла в сознание после той ночи. Умерла тихо, без криков, просто перестала дышать. Её тело вынесли через чёрный ход, погрузили в повозку и увезли в неизвестном направлении. Никто не плакал. Никто не спрашивал, что случилось. В этом доме смерть была обыденностью — такой же, как грязные простыни и пустые бутылки из-под шампанского.

А Соледад продолжала жить. Если это можно было назвать жизнью.

Болезнь пожирала её быстро. Сыпь превратилась в язвы — мокнущие, дурно пахнущие, покрывающие грудь, шею, руки, внутреннюю сторону бёдер. Они зудели, болели, сочились сукровицей. Кости болели так, что каждое движение превращалось в пытку. Она едва могла ходить, едва могла стоять. Клиенты отказывались от неё. Мадам злилась и грозилась вышвырнуть на улицу.

Она держалась из последних сил. Каждое утро она вставала, замазывала язвы пудрой, улыбалась — и шла работать. Но с каждым днём сил становилось всё меньше. Она чувствовала, как смерть подбирается к ней, как она крадёт по пятам, как она дышит в затылок.

И однажды — холодным ноябрьским вечером, под дождём, который барабанил по крышам и мостовым, — угроза осуществилась.

— Убирайся, — сказала мадам, даже не глядя на неё. — Ты гниёшь заживо. Ты заразна. Мне не нужны проблемы.

— Дайте мне неделю, — прошептала Соледад. — Я поправлюсь.

— Ты сдохнешь через месяц. Убирайся.

Её вытолкали на улицу. Она упала на колени прямо в грязную лужу. Дождь хлестал по лицу, смешиваясь со слезами. Она попыталась встать, но ноги не держали. Тогда она поползла.

Она доползла до тупика между двумя домами и там, в грязи и мусоре, легла на бок. Дождь продолжал падать. Холод пробирал до костей, но она почти не чувствовала его. Боль внутри стала сильнее внешней — режущая, разрывающая, заполняющая всё. Она чувствовала, как органы отказывают один за другим. Почки. Печень. Сердце.

Перед глазами поплыли круги. И в этих кругах она снова увидела Аннет — рыжие волосы, испуганные глаза, доверчивую улыбку. И лицо англичанина — размытое, ускользающее, с холодной, понимающей улыбкой. И лицо отца, и лицо матери, и лицо младшей сестры — все они смотрели на неё, и в их глазах был укор.

— Прости меня, — прошептала она, не зная, к кому обращается. — Простите меня все.

В сточной канаве, среди окурков и обрывков газет, плавало разбитое яйцо. Белая скорлупа раскололась на несколько частей. Желток растёкся по грязной воде. Соледад смотрела на него, и что-то в этом образе казалось ей важным. Что-то, что она должна была понять. Что-то, что было больше, чем просто мусор на улице.

Яйцо. Скорлупа. Разбитая надежда.

Она сжала в руке золотой кулон — единственное, что у неё осталось. Пальцы дрожали, но она держала его крепко. Овальный. Тёплый. Как маленькая планета, зажатая в кулаке. Как обещание, которое никогда не исполнится.

— Я... — начала она, но не закончила.

Последний выдох. Дождь смыл его с её губ.

Соледад умерла в одиночестве, как и предсказывало её имя.

А где-то далеко — или близко, в другом измерении, — перламутровая сфера колыхнулась. Бесплотная фигура, стоявшая в её центре, наблюдала за смертью женщины через рябь пространства. И улыбалась.

И сфера погрузилась в тишину, ожидая возвращения души.

Глава 4. Стекланный купол

Гуанчжоу, 1957 год

Первое, что пришло, — свет.

Он был не просто ярким. Он был безжалостным, режущим, всепроникающим. Он ворвался в сознание, которое ещё не знало, что такое сознание, и выжег всё: покой, тепло, глухой, убаюкивающий стук, бывший его вселенной девять месяцев. Этот стук был единственной константой его существования — ровный, успокаивающий ритм материнского сердца. Теперь его не стало. Вместо темноты — резкий, белый, слепящий свет больничной лампы, бьющий прямо в лицо, в глаза, которые ещё не умели видеть. Вместо тепла — холод, пронизывающий, какого он никогда не испытывал, холод, от которого кожа немедленно покрылась мурашками. Вместо глухого, убаюкивающего ритма — шум: крики рожениц, доносящиеся из-за перегородки, скрежет металлических инструментов, торопливые шаги по кафельному полу, резкий женский голос, выкрикивающий что-то на кантонском диалекте — отрывисто, деловито, без тени нежности.

Он закричал.

Это был первый крик его жизни — и первое действие, которое он совершил самостоятельно. Его лёгкие, только что наполнившиеся воздухом, горели, словно в них влили кислоту. Воздух был холодным и пах чем-то острым, стерильным, враждебным — смесью карболки, спирта и ещё чего-то химического, что он не мог определить. Кожа, привыкшая за девять месяцев к тёплой, обволакивающей водной среде материнской утробы, ощущала каждое прикосновение как ожог: грубая ткань пелёнки, царапающая нежнейшую плоть, словно наждак; чьи-то руки в резиновых перчатках, холодных и скользких; металлический поднос под спиной, ледяной, неумолимый. Всё было неправильным. Всё было чужим. Всё причиняло боль.

Но хуже всего была сама боль.

Она пришла с ним в этот мир. Она была встроена в его тело, в его кровь, в его гены, в каждую клетку. Он не знал слова «сифилис». Не знал слов «врождённая инфекция». Не знал, что его мать, молодая женщина, лежала в соседней комнате, истекая кровью после тяжёлых родов, и её жизнь утекала вместе с этой кровью. Не знал, что бледная трепонема — микроскопический спиралевидный организм, невидимый глазу, но смертоносный, — передалась ему через плаценту много месяцев назад и теперь размножалась в его крошечном теле, поражая кости, кожу, печень, селезёнку, мозг. Он не знал ничего этого. Он не мог знать. Он был всего лишь сгустком ощущений, сосудом, до краёв наполненным страданием.

Он знал только боль.

Она пульсировала в крошечных костях, которые ещё не успели окрепнуть, горела в суставах, саднила на коже, которая уже была покрыта красноватой сыпью — такой же, какая была у его матери. Она была повсюду — и нигде конкретно. Она не имела источника, не имела границ, не имела конца. Она была самым его существованием, фоном, на котором разворачивалась его короткая жизнь.

Чьи-то руки подняли его. Грубые, торопливые, равнодушные — руки акушерки, которая приняла уже тысячи младенцев и не видела в них ничего, кроме работы. Его взвесили на холодных металлических весах — чаша была ледяной, и он задрожал ещё сильнее. Измерили длину, окружность головы, записали что-то в карту. Завернули в колючую ткань — простую хлопчатобумажную пелёнку, грубую, как мешковина, — и перевязали тесёмкой. Женский голос — тот самый, что кричал на кантонском, — что-то произнёс коротко, сухо. Другой голос, мужской, ответил. Слов он не понимал — он ещё не умел понимать, — но интонацию уже различал каким-то древним, животным чутьём: не радость, не умиление, не тепло. Усталая,

привычная отстранённость. «Ещё один. Мать умерла. Отец неизвестен. Ребёнок слабый, весь в сыпи. Долго не протянет».

Его унесли из родильной комнаты. Свет сменился — стал тусклее, но остался таким же безжалостным, без тени уюта. Теперь это были длинные лампы дневного света на потолке, которые гудели низко и монотонно, как рой насекомых. Этот гул будет сопровождать его все оставшиеся дни — он станет таким же привычным, как боль. Палата для новорождённых. Большое помещение с высокими потолками и облупившейся краской на стенах. Здесь пахло карболкой, детской присыпкой и чем-то ещё — сладковатым и тревожным, запахом болезни, запахом гниющей плоти, который исходил от некоторых младенцев.

Его положили в кувез.

Это был стеклянный ящик на металлических ножках, с прозрачными стенками и овальным куполом сверху. Старая модель, ещё довоенная, с облупившейся белой краской на металлических частях. Через стекло проникал свет, но не тепло. Внутри должно было быть тепло — кувез был предназначен согреть недоношенных и слабых младенцев, поддерживая постоянную температуру тела, которую они ещё не умели регулировать сами, — но лампы под ним работали с перебоями, нагревательный элемент был старым и изношенным, а больничное отопление едва справлялось с ноябрьским холодом. В его стеклянном куполе была трещина — тонкая, как паутина, как волос, идущая от верхнего края к середине, чуть заметная глазу, но достаточная, чтобы драгоценное тепло уходило через неё. Её никто не заклеил. Никто не заметил. В этой больнице для бедных, переполненной крестьянами, беженцами из северных провинций и просто нищими, персоналу было не до треснувших кувезов. У них не хватало рук, не хватало лекарств, не хватало времени. Они спасали тех, кого можно было спасти, и давали умереть тем, кто был обречён.

Он лежал на спине, спелёнутый так туго, что едва мог пошевелить пальцами, и смотрел в стеклянный потолок. Его зрение было ещё не сформировано — мир представлял собой размытые пятна света и тени, без деталей, без резкости. Но даже в этом размытом мире овальный купол над ним угадывался как замкнутая кривая. Скорлупа, внутри которой он был заключён. Прозрачная, но непроницаемая. Защищающая — но не греющая. Обещающая жизнь — но не дающая её.

Что-то в этой форме казалось ему знакомым. Что-то, что он не мог вспомнить, потому что не умел помнить. Что-то, что было раньше — до света, до холода, до боли. Что-то, что лежало за пределами его крошечного сознания, но уже было частью его — как эхо далёкого голоса, как смутное воспоминание о чём-то важном.

Он не знал своей матери. Не знал, что её звали Чжоу Линь и что она была русской только наполовину — дочерью эмигранта, бежавшего из Петербурга в 1918 году, когда большевики захватили власть и началась Гражданская война. Её отец, инженер-путеец, работал на Китайско-Восточной железной дороге и осел в Харбине, где женился на местной женщине из смешанной семьи. Чжоу Линь выросла в многоязычной среде: дома говорили по-русски и по-китайски, на улице — на маньчжурском, в школе учили английский. Она говорила с лёгким акцентом, но по-русски — чисто, почти как петербурженка. В детстве она слышала от отца странные, тягучие стихи, которые тот повторял по вечерам, глядя в окно на заснеженные улицы Харбина.

«...и падаю, и нет меня вдали, и нет меня, и никогда я не был...»

Отец Чжоу Линь был инженером на КВЖД, но в душе — поэтом. В юности он публиковался в петербургских журналах, подавал надежды, но революция разрушила всё. Он бежал, спасаясь от красного террора, и увёз с собой только чемодан с рукописями. В Харбине он продолжал писать — по ночам, при свете керосиновой лампы, когда дети уже спали. Его стихи никто не читал, кроме жены, которая не понимала по-русски, но любила звучание этих странных, печальных слов. Он хранил рукописи в старом чемодане, обитом железными уголками, который стоял под кроватью. Когда он умер от тифа в 1935 году — в одну из тех эпидемий,

что косили эмигрантов, — чемодан сожгли вместе с остальными вещами: боялись заразы. Так погибли все его стихи. Все до единого.

Чжоу Линь тогда было двенадцать. Она стояла во дворе и смотрела, как горит отцовский чемодан, как пламя пожирает бумагу, исписанную его мелким, бисерным почерком. Единственное, что она запомнила из отцовских стихов, — эти две строчки. Они врезались в память, как заноза, которую невозможно вытащить. Она повторяла их про себя в трудные минуты. Когда японцы оккупировали Маньчжурию в 1937 году и началась война. Когда они с матерью бежали на юг, в переполненном поезде, где люди умирали от голода и болезней. Когда мать умерла от холеры в лагере для беженцев под Пекином, и она осталась одна в четырнадцать лет. Когда она брела пешком через полстраны, ночевала в придорожных канавах, просила милостыню. Когда оказалась в Гуанчжоу — огромном, шумном, чужом городе, где никому не было до неё дела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.